

Максим Горький

Городок Окуров



Максим Горький

Городок Окуров

Текст предоставлен издательством «Эксмо»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172735
На дне. Избранное : Эксмо; Москва; 2003
ISBN 5-699-07922-X

Аннотация

«Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди нее – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони.

Из густых лесов Чернораменя вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханых холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье – там ютится низкое мещанство...»

Максим Горький

Городок окуров

«...уездная, звериная глушь».

Ф. М. Достоевский

Волнистая равнина вся исхлестана серыми дорогами, и пестрый городок Окуров посреди нее – как затейливая игрушка на широкой сморщенной ладони.

Из густых лесов Чернораменья вытекает ленивая речка Путаница; извиваясь между распаханых холмов, она подошла к городу и разделила его на две равные части: Шихан, где живут лучшие люди, и Заречье – там ютится низкое мешанство.

Разрезав город, река течет к юго-западу и теряется в ржавом Ляховском болоте; оцетинилось болото темным ельником, и уходит мелкий лес густым широким строем в серовато-синюю даль. А на востоке, по вершинам холмов, маячат в бледном небе старые, побитые грозами деревья большой дороги в губернию.

Кроме города, на равнине, у опушки Черной Рамени приткнулось небольшое село Воеводино да две деревни: к северу – Обносково, а к востоку – Балымеры, Бубновка тож; вот и всё вокруг Окурова.

Обилие вод в краю насыщает летом воздух теплой влагой и пахучей духотой; небо там бледное и мутное, точно запо-

тело, солнце – тускло, вечерние зори – зловеще багряны, а лупа – на восходе – велика и красна, как сырое мясо.

Осенью над городом неделями стоят серые тучи, поливая крыши домов обильным дождем, бурные ручьи размывают дороги, вода реки становится рыжей и сердитой; городок замирает, люди выходят на улицы только по крайней нужде и, сидя дома, покорно ждут первого снега, играют в козла, дурочки, в свои козыри, слушают чтение пролога, минеи, а кое-где – и гражданских книг. Снег падает густо и обильно, тяжелыми хлопьями, заваливая улицы города едва не до крыш домов. По ночам на равнине заунывно воют волки; звезды крупны, синеваты и холодны, а зловещая Венера зелена, точно камень изумруд.

Город имеет форму намогильного креста: в комле – женский монастырь и кладбище, вершину – Заречье – отрезала Путаница, па левом крыле – серая от старости тюрьма, а на правом – ветхая усадьба господ Бубновых, большой, облупленный и оборванный дом: стропила па крыше его обнажены, точно ребра коня, задранного волками, окна забиты досками, и сквозь щели их смотрит изнутри дома тьма и пустота.

На Шихане числится шесть тысяч жителей, в Заречье около семисот. Кроме монастыря, есть еще две церкви: новый, чистенький и белый собор во имя Петра и Павла и древняя деревянная церковка Николая Мирликийского, о пяти разноцветных главах-луковицах, с кирпичными контрфорсами по бокам и приземистой колокольней, подобной кринолину

и недавно выкрашенной в синий и желтый цвета.

Мещане в городе юркие, но – сытенькие; занимаются они торговлей красным и другим товаром на сельских ярмарках уезда, скупают пеньку, пряжу, яйца, скот и сено для губернии; жены и дочери их вяжут из разноцветных шерстей туфли, коты, шарфы, фуфайки и дорожные мешки, – это рукоделие издавна привила им монастырская школа, где почти все они учились грамоте. Город славится вязаньем, посылает его к Макарию на ярмарку, и, должно быть, эта работа развила у жителей любовь к яркой окраске домов.

Главная улица – Поречная, или Бережок, – вымощена крупным булыжником; весной, когда между камней пробьется молодая трава, градской голова Сухобаев зовет арестантов, и они, большие и серые, тяжелые, – молча ползают по улице, вырывая траву с корнем. На Поречной стройно вытянулись лучшие дома, – голубые, красные, зеленые, почти все с палисадниками, – белый дом председателя земской управы Фогеля, с башенкой на крыше; краснокирпичный с желтыми ставнями – головы; розоватый – отца протоиерея Исаии Кудрявского и еще длинный ряд хвастливых уютных домиков – в них квартировали власти: войсковой начальник Покивайко, страстный любитель пения, – прозван Мазепой за большие усы и толщину; податной инспектор Жуков, хмурый человек, страдавший запоем; земский начальник Штрехель, театрал и драматург; исправник Карл Игнатьевич Вормс и развеселый доктор Ряхин, лучший артист

местного кружка любителей комедии и драмы.

Только почтмейстер Кубарев, знаменитый цветовод, да казначей Матушкин жили на Стрелецкой – эта улица одним концом, разрезая Поречную, выходила на берег реки, а другим уперлась в базарную площадь у ворот монастыря.

В городе много садов и палисадников, – клен, рябина, сирень и акации скрывали лица домов, сквозь зелень приветливо смотрели друг на друга маленькие окна с белыми занавесками, горшками герани, фуксии, бегонии на подоконниках и птичьими клетками на косяках.

Жили на Шихане благодушно и не очень голодно, предужказаниям начальства повиновались мирно, старину помнили крепко, но, когда встречалась надобность, гибко уступали и новым требованиям времени: так, заметив избыток девиц, мещанство решило строить прогимназию.

– Всех девок, видно, замуж не выдашь, – стало быть, пусть идут на службу, в учительницы!

Говорилось тоже, что хорошо бы и гимназию иметь: деревня год от году всё беднеет, жить торговлей становится трудно, ремесло кормит всё хуже, в губернии учить детей – дорого, а учить их надобно: доктора, адвокаты и вообще ученый народ живет сытно.

По праздникам молодежь собиралась в поле за монастырем играть в городки, лапту, в горелки, а отцы и матери сидели у ограды на траве и, наблюдая за игрой, вспоминали старину.

Заезжие фокусники и разные странствующие «артисты» собирали в «Лиссабоне» полный зал; спектакли местного кружка любителей тоже посещались усердно, но особенно были любимы светские концерты местного хора, которыми угощал горожан Мазепа – зимою в «Лиссабоне», а летом на городском бульваре.

Рыжий глинистый обрыв городского берега был укреплен фашинником, а вдоль обрыва город устроил длинный бульвар, густо засадив его топодем, акациями, липой; в центре бульвара голова и Покивайко выстроили за свой счет красную беседку, с мачтой на крыше, по праздникам на мачте трепался национальный флаг. Две лестницы спускаются от беседки по обрыву, под ним летом стояли купальни: полосатая – голубая с белым – Фогеля, красная – головы и серая, из выгоревших на солнце тесин – «публичная». От купален на реку ложатся разноцветные пятна, и река тихо полощет их кисею.

Другой берег, плоский и песчаный, густо и нестройно покрыт тесною кучей хижин Заречья; черные от старости, с ключьями зеленого мха на прогнивших крышах, они стоят на песке косо, криво, безнадежно глядя на реку маленькими большими глазами: кусочки стекол в окнах, отливая опалом, напоминают бельма.

Среди измятой временем, расшатанной половодьем толпы мещанских домишек торчит красная кирпичная часовня во имя Александра Невского: ее построил предок вымерших

помещиков Бубновых на том месте, где его, – когда он, по гневному повелению Павла I, ехал в ссылку в Тобольск, – догнал курьер с приказом нового царя немедля возвратиться в Питер. Часовню эту почти на треть высоты заметало сором и песком, кирпич ее местами выломан во время драк и на починку печей, и даже железный, когда-то золоченый, крест – согнут. Больше никаких приметных зданий в слободе не было, если не считать «Фелицатина райшка», стоявшего в стороне от нее и выше по течению реки.

Ежегодно в половодье река вливалась в дворы Заречья, заполняла улицы – тогда слобожане влезали на чердаки, удили рыбу из слуховых окон и с крыш, ездили по улицам и по реке на плотках из ворот, снятых с петель, ловили дрова, унесенные водою из леса, воровали друг у друга эту добычу, а по ночам обламывали перила моста, соединявшего слободу с городом.

Весною, летом и осенью заречные жили сбором щавеля, земляники, охотой и ловлею птиц, делали веники, потом собирали грибы, бруснику, калину и клюкву – всё это скупало у них городское мещанство. Человека три – в их числе Сима Девушкин – делали птичьи клетки и садки, семейство Пушкаревых занималось плетением неводов, Стрельцовы работали из корневища березы шкатулки и укладки с мудреными секретами. Семеро слобожан работало на войлочном заводе Сухобаева, девять человек валяло сапоги.

Войлочники и валяльщики сапог пили водку чаще и боль-

ше других, а потому пользовались общим вниманием и уважением всех слобожан. Иногда, по праздникам, лучший мастер по войлоку и один из сильнейших бойцов слободы, Герасим Крыльцов, вдруг начинал нещадно бить почитателей своих, выкрикивая, точно кликуша:

– Спаиваете вы меня, анафемы! Погибаю через вас – ух!

Но против него выходил красавец и первый герой Вавило Бурмистров и, засучивая рукава, увещевал его:

– Стой, Гараська! Ты как можешь, злодей, избивать христианский народ, который меня любит и уважает, а? Тебе чего жалко? Ну, держись!

Побежденный Герасим плакал:

– Не денег, братцы, жалко, жизни – жизни жалко моей!

Между городом и слободою издревле жила вражда: сытое мещанство Шихана смотрело на заречан, как на людей никчемных, пьяниц и воров, заречные усердно поддерживали этот взгляд и называли горожан «грошелюбами», «пятаякоедами».

С Михайлова дня зачинались жестокие бои на льду реки, бои шли всю зиму, вплоть до масленой недели, и, хотя у слобожан было много знаменитых бойцов, город одолевал численностью, наваливался тяжестью: заречные всегда бывали биты и гонимы через всю слободу вплоть до песчаных бугров – «Кобыльных ям», где зарывалидохлый скот.

Чаще всего из города в Заречье являлась полиция: с обысками, если случалась кража, ради сбора казенных повинно-

стей, описи слободских пожитков за долги и для укрощения частых драк; всякие же иные люди приходили только по ночам, дабы посетить «Фелицатин райшко».

«Райшко» – бывшая усадьба господ Воеводининых, ветхий, темный и слепой дом – занимал своими развалинами много места и на земле и в воздухе. С реки его закрывает густая стена ветел, осин и берез, с улицы – каменная ограда с крепкими воротами на дубовых столбах и тяжелой калиткой в левом полотнище ворот. У калитки, с вечера до утра, всю ночь, на скамье, сложенной из кирпича, сидел большой, рыжий, неизвестного звания человек, прозванный заречными – Четыхер.

До Четыхера сторожем был младший брат Вавилы Бурмистрова – Андрей, но он не мог нести эту должность более двух зим: в холода заречное мещанство волчьей стаей нападало на развалины дома, отрывая от них всё, что можно сжечь в печи, и многое ломали не столь по нужде, сколько по страсти разрушать, – по тому печальному озорству, в которое одевается тупое русское отчаяние. Приходилось грудью защищать хозяйское добро – против друзей и даже родного брата: на этом деле и покончил Андрей свою жизнь – ему отбили печенки.

Умирая, он хрипел:

– Фелицата, – за тебя стоял, – прощай!

Она плакала, закрывая лицо белыми руками, потом, с честью похоронив защитника, поставила над его могилою хо-

роший дубовый крест и долго служила панихиды об упокоении раба божия Андрия, но тотчас же после похорон съездила куда-то, и у ворот ее «раишка» крепко сел новый сторож – длиннорукий, квадратный, молчаливый; он сразу внушил бесстрашным заречанам уважение к своей звериной силе, победив в единоборстве богатырей слободы Крыльцова, Бурмистрова и Зосиму Пушкарева.

Широкий, двухэтажный, с антресолями, колоннами и террасою, воеводинский дом развалился посередине двора, густо заросшего бурьяном. Вокруг дома лежали остатки служб – Фелицатино топливо; над развалинами печально качались вершины деревьев парка. «Раишко» помещался во втором этаже, его три окна почти всегда были прикрыты решетчатыми ставнями, над ним – как нос над подбородком старика – нависла крыша, обломанная тяжестью снега.

Скрытая за стеною в глубине двора жизнь «Фелицати-на раишка» была недоступна наблюдениям заречных людей. Летом горожане являлись с реки, подъезжая в лодках к парку или крадучись берегом по кустам, зимою они проезжали слободской улицей, кутаясь в башлыках или скрывая лица воротниками шуб.

Знали, что у Фелицаты живут три девицы: Паша, Розочка и Лодка, что из хороших людей города наиболее часто посещают «раишко» помощник исправника Немцев, потому что у него хворающая жена, податной инспектор Жуков, как человек вдовый, и доктор Ряхин – по веселости характера.

Знали также, что, когда к Фелицате съезжалось много гостей, она звала на помощь себе женщин и девиц слободы; знали, кто из них ходит к ней, но относились к этому промыслу жен и дочерей хладнокровно, деньги же, заработанные ими, отнимали на пропой.

Бородатые лесные мужики из Обноскова, Балымер и других сел уезда, народ смиренный и простодушный, даже днем опасались ездить через слободу, а коли нельзя было миновать ее – ездили по трое, по четверо. Если же на улице слободы появлялся одинокий воз, навстречу ему, не торопясь, выходили любопытные слобожане, – тесно окружая мужика, спрашивали:

– Что, дядя, продаешь?

И, осматривая товар, – крали, а если мужик кричал, жаловался – колотили его, слегка.

Летними вечерами заречные собирались под ветлы, на берег Путаницы, против городского бульвара, и, лежа или сидя на песке, завистливо смотрели вверх: на красном небе четко вырезаны синеватые главы церквей, серая, точно из свинца литая, каланча, с темной фигурой пожарного на ней, розовая, в лучах заката, башня на крыше Фогелева дома. Густая стена зелени бульвара скрывала хвастливые лица пестрых домов Поречной, позволяя видеть только крыши и трубы, но между стволов и ветвей слобожане узнавали горожан и с ленивой насмешкой рассказывали друг другу события из жизни Шихана: кто и сколько проиграл и кто выиграл в кар-

ты, кто вчера был пьян, кто на неделе бил жену, как бил и за что. Знали все городские романы и торговые сделки, все ссоры и даже намерения горожан.

Узнавалась жизнь Шихана через женщин, ходивших на поденщину: полоть огорода, мыть полы в городских учреждениях, продавать ягоды и грибы на базаре и по домам.

Обо всем, что касалось города, Заречье говорило сатирически и враждебно; про свою жизнь рассуждало мало, лениво; больше всего любили беседы на темы общие, фантастические и выходившие далеко за пределы жизни города Окурова.

Любили пение. Летом каждый раз, когда на городском бульваре распевал хор Мазепы, Заречье откликалось ему голосами своих певцов Вавилы Бурмистрова и Артюшки Пистолета, охотника.

Слободской поэт Сима Девушкин однажды изобразил строй души заречных жителей такими стихами:

Позади у нас – леса,
Впереди – болото.
Господи! Помилуй нас!
Жить нам – неохота.

Скушно, тесно, голодно —
Никакой отрады!
Многие живут лет сто —
А – зачем их надо?

Может, было б веселей,
Кабы вдоволь пищи...
Ну, а так – живи скорей,
Да и – на кладбище!

Первой головою в Заречье был единодушно признан Яков Захаров Тиунов.

Высокий, сухой, жилистый – он заставлял ждать от него суетливых движений, бойкой речи, и было странно видеть его неспешную походку, солидные движения, слышать спокойный глуховатый голос.

Жизнь его была загадочна: подростком лет пятнадцати он вдруг исчез куда-то и лет пять пропал, не давая о себе никаких вестей отцу, матери и сестре, потом вдруг был прислан из губернии этапным порядком, полубольной, без правого глаза на темном и сухом лице, с выбитыми зубами и с котомкой на спине, а в котомке две толстые, в кожаных переплетах, книги, одна – «Об изобретателях вещей», а другая – «Краткое всемирное позорище, или Малый феатрон».

В то время отец и мать его уже давно померли, сестра, продав хижину и землю, куда-то уехала. Яков Тиунов поселился у повивальной бабки и знахарки Дарьюшки, прозванной за ее болтливость Волынкой. Неизвестно было, на какие средства он живет; сам он явно избегал общения с людьми, разговаривал сухо и неохотно и не мог никому смотреть в лицо, а всё прятал свой глаз, прищуривая его и дергая голо-

вой снизу вверх. По вечерам одиноко шлялся в поле за слободой, пристально разглядывая землю темным оком и – как все кривые – держа голову всегда склоненною немного набок.

По рассказам Дарьюшки, дома кривой читал свои большие книги и порою разговаривал сам с собою; слободские старухи называли его колдуном и чернокнижником, молодые бабы говорили, что у него совесть не чиста, мужики несколько раз пытались допросить его, что он за человек, но – не добились успеха. Тогда они требовали с кривого полведра водки, захотели еще, а он отказал, его побили, и через несколько дней после этого он снова ушел «в проходку», как объяснила Волынка.

Вернулся Тиунов сорокапятилетним человеком, с седыми вихрами на остром – дынею – черепе, с жиденькой седоватой бородкой на костлявом лице, точно в дыму копченном, – на этот раз его одинокое темное око смотрело на людей не пряча, серьезно и задумчиво.

Он снова поселился у Волынки и стал являться всюду, где сходились люди: зимой – в трактире Синемухи, летом – на берегу реки. Оказалось, что он хорошо поправляет изломанные замки, умеет лудить самовары, перебирать старые меха и даже чинить часы. Слобода, конечно, не нуждалась в его услугах, если же и предлагала иногда какую-нибудь работу, то платила за нее угощением. Но город давал Тиунову кое-какие заработки, и он жил менее голодно, чем другие слобо-

жане.

Жизнь его проходила размеренно и аккуратно: утром бабы, будя мужей, говорили:

– Вставай, лежебок! Седьмой час в исходе – уж кривой в город шагает!

И все знали, что из города он воротится около шести вечера. По праздникам он ходил к ранней обедне, потом пил чай в трактире Синемухи, и вплоть до поздней ночи его можно было видеть всюду на улицах слободы: ходит человек не торопясь, задумчиво тыкает в песок черешневой палочкой и во все стороны вертит головой, всех замечая, со всеми предупредительно здороваясь, умея ответить на все вопросы. Речь его носит оттенок книжный, и это усиливает значение ее.

Когда бойкая огородница Фимка Пушкарева, больно побитая каким-то случайным другом сердца, прибежала к Тиуну прятаться и, рыдая, стала проклинать горькую бабью долю, – кривой сказал ей ласково и внушительно:

– А ты, Серафима, чем лаять да выть, подобно собаке, человечий свой образ береги, со всяким зверем не якшайся: выбери себе одного кого – поласковее да поумнее – и живи с ним! Не девушка, должна знать: мужчине всякая баба на час жена, стало быть, сама исхитрись сдержку поставить ему, а не стели себя под ноги всякому прохожему, уважь божье-то подобие в себе!

Слова эти запомнились женщинам слободы, они создали кривому славу человека справедливого, и он сумел получить

за них немало добрых бабьих ласк.

Но, как и раньше, в лунные ночи он ходил по полям вокруг слободы и, склонив голову на плечо, бормотал о чем-то.

Собираясь под ветлами, думающие люди Заречья ставили Тиунову разные мудрые вопросы.

Начинал всегда Бурмистров – он чувствовал, что кривой затеняет его в глазах слобожан, и, не скрывая своей неприязни к Тиунову, старался чем-нибудь сконфузить его.

– Эй, Тиунов! Верно это – будто ты к фальшивым деньгам прикосновенность имел и за то – пострадал напрасно?

– Деньги – они все фальшивые, – спокойно отвечает кривой, нацеливаясь глазом в глаза Вавилы.

Бурмистров смущен и уже немножко горячится.

– Это как же? Ежели я вылью целковый из олова со стеклом и ртутью его обработаю, а казна – из серебра, – что же будет?

– Два целковых и будет! – глуховато говорит Тиунов. – И серебру и олову – одна цена в этом разе. Бумажный рубль есть, значит, и деревянный али глиняный – можно сделать. А вот ежели ты сапог из бересты склеишь – это уж обман! Сапог есть вещь, а деньги – дрянь!

Говорит он уверенно, глаз его сверкает строго, и все люди вокруг него невольно задумываются.

Колченогий печник Марк Иванов Ключников, поглаживая голый свой череп и опухшее желтое лицо, сипло спрашивает:

– Вот, иной раз думаю я – Россия! Как это понять – Россия?

Тиунов, не задумываясь, изъясняет:

– Что ж – Россия? Государство она, бесспорно, уездное. Губернских-то городов – считай – десятка четыре, а уездных – тысячи, поди-ка! Тут тебе и Россия.

Помолчав, он добавил:

– Однако – хорошая сторона, только надо это понять, чем хороша, надо посмотреть на нее, на Русь, пристально...

– Не на этом ли тебе глаз-от вышибло? – спрашивает Бурмистров, издеваясь.

Ключников моргает заплывшими глазами и думает о чем-то, потирая переносицу.

Переваливаясь с боку на бок, Вавило находит еще вопрос:

– Вот – ты часто про мещан говоришь! – строго начинает он. – А ты знаешь – сколько нас, мещанства?

– Мы суть звезды мелкие, сосчитать нас, поди-ка, и неммысленно.

– Врешь! Годов шесть тому назад считали!

– Стало быть, кто считал – он знает. А я не знаю. Трудно, чай, было итог нам подвести? – добавляет он с легоньким вздохом и тонкой усмешкой.

– Отчего?

– Оттого, главное, что дураки – они самосевом рождаются.

Бурмистров, имея прекрасный случай придраться к Тиуну, обиженно кричит:

– Я разве дурак?

Но Ключников, Стрельцов и скромный Зосима Пушкирев, по прозвищу Валяный Черт, – успокаивают красавца.

А успокоив, Ключников, расковыривая пальцем дыру на колене штанины, озабоченно спрашивает:

– Ну, а примерно Москва?

– Что ж Москва? – медленно говорит кривой, закатив темное око свое под лоб. – Вот, скажем, на ногах у тебя опорки, рубаха – год не стирана, штаны едва стыд прикрывают, в брюхе – как в кармане – сор да крошки, а шапка была бы хорошая... скажем – бобровая шапка! Вот те и Москва!

Отдуваясь и посапывая, Ключников обводит кривого взглядом, точно гадального петуха – на святках – меловой чертой, и – лениво говорит:

– А ведь, пожалуй, верно это!

Лежат они у корней ветел, точно куча сора, намытого рекой, все в грязных лохмотьях, нечесаные, ленивые, и почти на всех лицах одна и та же маска надменного равнодушия людей многоопытных и недоступных чувству удивления. Смотрят полусонными глазами на мутную воду Путаницы, на рыжий обрыв городского берега и в белесое окурое небо над бульваром.

Влажный воздух напоен теплым запахом гниющих трав болота, – люди полны безнадежной скукой. Темный глаз кривого оглядывает их, меряет; Тиунов вертит головою так же, как в тот час, когда он подбирает старые, побитые молью ме-

ха.

Молчаливый Павел Стрельцов спрашивает Тиунова всегда о чем-нибудь, имеющем практическое значение.

– А что, Яков Захарыч, ежели водку чаем настоять – будет с этого мадера?

– Не будет! – отвечает Тиунов спокойно и решительно. – Мадеру настаивают – ежели по запаху судить – на солодском корне...

– Врешь ты, кривой! – говорит Бурмистров. – Никто ничего не знает, а ты – врешь!

– Не верь, – советует кривой.

– И не буду! Мне – ото всех твоих слов – плесенью пахнет. Ну какая беспокойная тоска всё это!

Вздыхают, плюют на песок, позевывая, крутят папироски. Вечер ласково стелет на берег теплые тени ветел. Со стороны «Фелицатина райшка» тихо струится заманчивая песня:

Ой ли, милые мои,
Разлюбезные мои...

– тонким голосом выводит Розочка, а Лодка сочно и убедительно подхватывает:

А пригоже ль вам, бояре,
Мимо терема идти?..

– Любит эта Розка по крышам лазить! – замечает Стрель-

цов. – Отчего бы?

– С крыш – дальше видно, – объясняет Тиунов.

В мягкую тишину вечера тяжело падает Фелицатин басовой хозяйский голос:

– Розка!

– Ну?

– Чай пить иди!

Ключников, чмокая губами, говорит:

– Хорошо бы теперь почайничать!

– Не сходя с места, – добавляет Зосима Пушкарев. Бурмистров, обращаясь к Стрельцову, укоряет его:

– Еще в позапрошлом году хотел ты чайник завести, чтобы здесь чай пить, – ну, где он?

Круглое лицо Павла озабоченно хмурится, острие глазки быстро мигают, и, шепелявя, он поспешно говорит:

– Я, конечно, его сделаю, чайник! Со свистком хочется мне, чтобы поставил на огонь и – не думай! Он уж сам позовет, когда вскипит, – свистит он: в крышке у него свисток будет!

И вдруг, осененный новой мыслью, радостно объявляет:

– А то – колокольчик можно приспособить! На ручке – колокольчик, а внутри, на воде – кружок, а в кружке – палочка – так? Теперь – ежели крышку чайника прорезать, палочку, – можно и гвоздь, – лучше гвоздь! – пропустить сквозь дыру – ну, вода закипит, кружок закачается – тут гвоздь и начнет по колоколу барабанить – эго!

– Ну и башка! – изумленно говорит Зосима, опуская длинные желтые ресницы на огромные мутные глаза.

За рекой, на бульваре, появляются горожане: сквозь деревья видно, как плывут голубые, розовые, белые дамы и девицы, серые и желтые кавалеры, слышен звонкий смех и жирный крик Мазепы:

– Рэгэнт? Та я ж – позовить его!

Заречные люди присматриваются и громко сообщают друг другу имена горожан.

– Исправник вышел! – замечает Бурмистров, потягиваясь, и ухмыляется. – Хорошо мы говорили с ним намедни, когда меня из полиции выпускали. «Как это, говорит, тебе не стыдно бездельничать и буянить? Надо, говорит, работать и жить смирно!» – «Ваше, мол, благородие! Дед мой, бурмистр зареченский, работал, и отец работал, а мне уж надобно за них отдыхать!» – «Пропадешь ты», – говорит...

– И по-моему, – говорит Ключников, зевнув, – должен ты пропасть из-за баб, как брат твой Андрей пропал...

– Андрей – от побоев! – говорит Зосима. – И вину сильно прилежал...

Бурмистров осматривает всех гордым взглядом и веско замечает:

– Не от вина и не от побоев, а – любил он Фелицату! Кабы не любил он ее – на что бы ему против всех в бой ходить?

Берегом, покачиваясь на длинных ногах, шагает высокий большеголовый парень, без шапки, босой, с удилищами на

плече и корзиною из бересты в руках. На его тонком сутулом теле тяжело висит рваное ватное пальто, шея у него длинная, и он странно кивает большой головой, точно кланяясь всему, что видит под ногами у себя.

Павел Стрельцов, суетясь и волнуясь, кричит встречу ему:

– Сим! Иди скорей!

И, стоя на коленях, ждет приближения Симы, глядя на его ноги и словно считая медленные, неверные шаги.

Лицо Симы Девушкина круглое, туповатое, робкие глаза бесцветны и выпучены, как у овцы.

– Ну, чего сочинил? Сказывай! – предлагает Стрельцов.

И Ключников, ласково улыбаясь, тоже говорит:

– Барабань, ну!

Шаркая ногой по песку и не глядя на людей, Сима скороговоркой, срывающимся голосом читает:

Боже – мы твои люди.

А в сердцах у нас – злоба!

От рожденья до гроба

Мы друг другу – как звери!

С нами, господи, буди!

Не твои ли мы дети?

Мы тоскуем о вере,

О тебе, нашем свете...

– Ну, брось, плохо вышло! – прерывает его Бурмистров.

А Тиунов, испытующе осматривая поэта темным оком, мягко и негромко подтверждает:

– Священные стихи не вполне выходят у тебя, Девкин! Священный стих, главное, певучий:

Боже, – милостив буди ми грешному.

Подай, господи, милости божией...

Вот как священный стих текет! У тебя же выходит трень-брень, как на балалайке!

Стрельцов, отрицательно мотая головой, тоже говорит:

– Не годится...

Сима стоит над ними, опустя тяжелую голову, молча шевелит губами и всё роет песок пальцами ноги. Потом он покачивается, точно готовясь упасть, и идет прочь, загребая ногами.

Глядя вслед ему, Тиунов негромко говорит:

– А все-таки – складно! Такой с виду – блаженный как бы... Вот – узнай, что скрыто в корне человека!

– Говорят – будто бы на этом можно деньги зашибить? – мечтательно спрашивает Стрельцов.

– А почему нельзя? Памятники даже ставят некоторым сочинителям: Пушкину в Москве поставили... хотя он при дворе служил, Пушкин! Державину в Казани – тоже придворный, положим!

Кривой говорит задумчиво, но всё более оживляется и

быстрее вертит шейей.

– Особенно в этом деле почитаются вот такие, как Девушкин этот, – низкого происхождения люди. Был при Александре Благословенном грушник Слепушкин, сочинитель стихов, так ему государь золотой кафтан подарил да часы, а потом Бонапарту хвастался: «Вот, говорит, господин Бонапарт, у вас – беспорядок и кровопролитное междоусобие, а мои мужички – стишки сочиняют, даром что крепостные!»

– Это он ловко срезал! – восхищается Ключников.

Бурмистров сидит, обняв колена руками, и, закрыв глаза, слушает шум города. Его писаное лицо хмуро, брови сдвинуты, и крылья прямого крупного носа тихонько вздрагивают. Волосы на голове у него рыжеватые, кудрявые, а брови – темные; из-под рыжих душистых усов красиво смотрят полные малиновые губы. Рубаха на груди расстегнута, видна белая кожа, поросшая золотистой шерстью; крепкое, стройное и гибкое тело его напоминает какого-то мягкого, ленивого зверя.

– Ерунда всё это! – не открывая глаз, ворчит он. – Стихи, памятники – на что они мне?

– Тебе бы только Лодку! – говорит Ключников, широко улыбаясь.

Зосима Пушкарев оживленно восклицает:

– Ну ж, – она ему и пара! И красива – ух! Не хуже его, Вавилы-то, ей-богу...

– Почему – ерунда? – тихо спрашивает кривой, действуя

глазом, точно буравом. – Если стих соответствует своему предмету – он очень сильно может за сердце взять! Например – Волга, как о ней скажешь?

Протянув руку вперед и странно разрубая слога, он тихо говорит своим глухим голосом:

Во-лга, Во-лга, вес-ной много-водною
Ты не так за-ливаешь поля,
Как великою скорбью народною...

Понимаете?

Как великою скорбью народною
Переполнилась наша земля!

Русская земля! Вот – правильные стихи! Широкие!

– Это ты откуда взял? – спрашивает печник, подвигаясь к нему.

– В Москве, в тюремном замке, студенты пели...

– Ты там сидел?

– А как же!

– За фальшивки?

– Нет! Ведь это так, шутка, что я фальшивками занимался, меня за бродяжничество сажали и по этапам гоняли. А раз я попал по знакомству: познакомился в трактире с господином одним и пошел ночевать к нему. Господин хороший. Ночевал я у него ночь, а на другую – пришли жандармы и

взяли нас обоих! Он, оказалось, к политике был причастен.

– Что такое политика эта? – удивленно спрашивает Стрельцов. – Вон, сказывают, у одной мещанки в городе сына, солдата, посадили...

– У Маврухиной это!

– Помешалась она, говорили бабы...

– Политика – разное понимается, – спокойненько объясняет Тиунов. – Одни говорят: надобно всю землю крестьянам отдать; другие – нет, лучше все заводы рабочим; а третьи – отдайте, дескать, всё нам, а мы уж разделим правильно! Все, однако, заботятся о благополучии людей...

– Ну, а насчет мещан как?

Бурмистров, обернувшись к Стрельцову, строго заметил:

– Мещан политика не касается!

Кривой, поджав губы, промолчал.

С реки поднимается сырость, сильнее слышен запах гниющих трав. Небо потемнело, над городом, провожая солнце, вспыхнула Венера. Свинцовая каланча окрасилась в мутно-багровый цвет, горожане на бульваре шумят, смеются, ясно слышен хриплый голос Мазепы:

– Да – пэрэстаньте!

Вдруг раздается хоровое пение марша:

Как-то раз, перед толпою

Соплеменных гор...

– Погодите! – грозя кулаком, говорит Бурмистров. – Придет Артюшка – мы вам покажем соплеменных!

И орет:

– Артюшка-а!

Павел Стрельцов неожиданно и с обидою в голосе бормочет:

– Вот тоже сахар возьмем – отчего из березового сока сахар не делать? Сок – сладкий, березы – много!

Ему никто не отвечает.

– Также и лен, – почему только лен? А может, и осот и всякая другая трава годится в дело? Надо ее испробовать!

Заложив руки за спину, посвистывая, идет Артюшка Пистолет, рыболов, птичник, охотник по перу и пушнине. Лицо у него скуластое, монгольское, глаза узкие, косые, во всю левую щеку – глубокий шрам: он приподнял угол губ и положил на лицо Артюшки бессменную кривую улыбку пренебрежения.

– Зачастили? – говорит он, кивая головой на город. – Ну, перебьем?

Бурмистров встает, потягивается, выправляя грудь, оскаливает зубы и командует:

– Начинай! Эх, соплеменные, – держись! В сырой и душный воздух вечера врываются заунывные ноты высокого светлого голоса:

Ой, да ты, кукушка-а...

Артем стоит, прислонясь к дереву, закинув руки назад, голову вверх и закрыв глаза. Он ухватился руками за ствол дерева, грудь его выгнулась, видно, как играет кадык и дрожат губы кривого рта.

Вавило становится спиной к городу, лицом – к товарищу и густо вторит хорошим, мягким баритоном:

Ой ли, птица бесприютная-а,
Про-окукуй мне лето красное!

Вавило играет песню: отчаянно взмахивает головой, на высоких, скорбных нотах – прижимает руки к сердцу, тоскливо смотрит в небо и безнадежно разводит руками, все его движения ладно сливаются со словами песни. Лицо у него ежеминутно меняется: оно и грустно и нахмурено, то сурово, то мягко, и бледнеет и загорается румянцем. Он поет всем телом и, точно пьянея от песни, качается на ногах.

Все, не отрываясь, следят за его игрою, только Тиунов неподвижно смотрит на реку – губы его шевелятся и борода дрожит, да Стрельцов, пересыпая песок с руки на руку, тихонько шепчет:

– Вот, тоже, песок... Что такое – песок, однако? Из сумрака появляется сутулая фигура Симы, на плечах у него удилица, и он похож на какое-то большое насекомое с длинными усами. Он подходит бесшумно и, встав на колени, смотрит в лицо Бурмистрова, открыв немного большой рот и выкаты-

вая бездонные глаза. Сочный голос Вавилы тяжело вздыхает:

Эх, да вы ль, пути-дороги темные...

Когда разразилась эта горестная японская война – на первых порах она почти не задела внимания окуривцев. Горожане уверенно говорили:

– Вздуюем!

Покивайко, желая молодецки выправить грудь, надувал живот, прятал голову в плечи и фыркал:

– Японсы? Розумному человеку даже смешно самое это слово!

Фогель лениво возражал:

– Ну, не скажите! Они все-таки...

Но Покивайко сердился:

– А що воно таке – высетаке?

И с ехидной гримасой на толстом лице завершал спор всегда одной и той же фразой:

– Скэптицизм? Я вам кажу – лучше человеку без штанов жить, чем со скэптицизмом...

Долетая до Заречья, эти разговоры вызывали там равнодушное эхо:

– Накладем!

И долго несчастья войны не могли поколебать эту мертвую уверенность.

Только один Тиунов вдруг весь подобрался, вытянулся, и

даже походка у него стала как будто стремительнее. Он возвращался из города поздно, приносил с собою газеты, и почти каждый вечер в трактире Синемухи раздавался негромкий, убеждающий голос кривого:

– Кто воюет? Россия, Русь! А воеводы кто? Немцы!

Озирая слушателей темным взглядом, он перечислял имена полководцев и поджимал губы, словно обиженный чем-то.

– Какие они немцы? – неохотно возражали слушатели. – Чай, лет сто русский хлеб ели!

– Репой волка накормишь? Можешь? – серьезно спрашивает Тиунов. – Вы бы послушали, что в городе канатчик Кожемякин говорит про них! Да я и сам знаю!

– Ущемил, видно, тебя однажды немец, вот ты его и не любишь!

Развивались события, нарастало количество бед, горожане всё чаще собирались в «Лиссабон», стали говорить друг другу сердитые дерзости и тоже начали хмуро поругивать немцев; однажды дошло до того, что земский начальник Штрехель, пожелтев от гнева, крикнул голове и Кожемякину:

– А я вам скажу, что без немцев вы были бы грязными татарами! И впредь прошу покорно при мне...

Дергая круглыми плечами, Покивайко встал перед ним и сладостно возопил:

– Да сердце ж вы мое! Боже мой милый! Немцы, татары, або мордвины – да не всё ли ж равно нам, окуровцам? Разве

ж мы так-таки уж и не имеем своего поля? А нуте, пожалуйста, прошу...

И осторожно отвел желчного Штрехеля за карточный стол.

В Заречье несчастья войны постепенно вызвали спутанное настроение тупого злорадства и смутной надежды на что-то.

– Посмотреть бы по карте, как там всё расположено... – предлагал озабоченно Павел Стрельцов. – Море там, вот его бы пустить в действие...

– Шабаш! – осторожно загудел Тиунов, когда узнали о печальном конце войны. – Ну, теперь те будут Сибирь заглатывать, а эти – отсюда навалятся!

Он тыкал пальцем на запад и, прищуривая глаз, словно нацеливался во что-то, видимое ему одному.

Вавило Бурмистров стал задумываться: он долго исподволь прислушивался к речам кривого и однажды, положив на плечо ему ладонь, в упор сказал:

– Ну, Яков, не раздражай души моей зря – говори прямо: какие твои мысли?

Тиунову, видимо, не хотелось отвечать, движением плеча он попробовал сбросить руку Вавилы, но рука лежала тяжело и крепко.

– Отступись! – с трудом вывертываясь, сказал он тихонько.

Бурмистров привык, чтобы его желания исполнялись сра-

зу, он нахмурил темные брови, глубоко вздохнул и тот час выпустил воздух через ноздри – звук был такой, как будто зашипела вода, выплеснутая на горячие уголья. Потом молча, движениями рук и колена, посадил кривого в угол, на стул, сел рядом с ним, а на стол положил свою большую жилистую руку в золотой шерсти. И молча же уставил в лицо Тиунова ожидающий, строгий взгляд.

Завсегдатаи трактира тесно окружили их и тоже издали.

– Ну, – сказал Тиунов, оглядываясь и сухо покашливая, – о чем же станем беседовать мы?

– Говори, что знаешь! – определил Бурмистров.

– Я на всю твою жизнь знаю, тебе меня до гроба не переслушать!

– Ничего, авось ты скорей меня подохнешь! – ответил Вавило, и всем стало понятно, что если кривой не послушается – красавец изобьет его.

Но Тиунов сам понял опасность; решительно дернув головой кверху, он спокойно начал:

– Ладно, скажу я вам некоторые краткие мысли и как они дошли до моего разума. Будучи в Москве, был я, промежду прочим, торговцем – продавал подовые пироги...

И начал подробно рассказывать о каком-то иконописце, вдовом человеке, который весь свой заработок тратил на подаяние арестантам. Говорил гладко, но вяло и неинтересно, осторожно выбирал слова и словно боялся сказать нечто важное, что люди еще не могут оценить и недостойны знать.

Посматривал на всех скучно, и глуховатый голос его звучал подзадоривающе лениво.

– Ты, однако, меня не дразни! – сказал Вавило сквозь зубы. – Я – кроткий, но коли что-нибудь против меня – сержусь я тогда!

Кривой помолчал, потом строго воззрился на него и вдруг спросил:

– Ты – кто?

– Я?

– Да, ты.

Озадаченный вопросом, Бурмистров улыбнулся, оглядел всех и натянуто захохотал.

– Ты – мещанин? – спокойно и с угрозой вновь спросил кривой.

– Я? Мещанин! – Вавило ударил себя в грудь кулаком. – Ну?

– А знаешь ты, что такое соответствующий человек? – спрашивал Тиунов, понижая голос.

– Какой?

Кривой тихо и отдельно повторил:

– Со-ответствующий!

Бурмистров не мог более чувствовать себя в затруднительном положении: он вскочил, опрокинул стол, скрипнув зубами, разорвал на себе рубаху, затопал, затрясся, схватил Тиунова за ворот и, встряхивая его, орал:

– Яков! Не бунтуй меня!

Эти выходки были всем знакомы: к ним Вавило прибегал, когда чувствовал себя опрокинутым, и они не возбуждали сочувствия публики.

– Брось дурить, кликуша! – сказал Зосима Пушкарев, охватывая его сзади под мышки толстыми ручищами.

– Словно беременная баба, в самом деле! – презрительно и строго говорит Пистолет, и лицо у него становится еще более кривым. – Только тебе и дела – зверем выть! Дай послушать серьезный человеческий голос!

Бурмистров почувствовал себя проигравшим игру, сокрушенно мотнул головой и, как бы сильно уставший, навалился на стол.

А Тиунов, оправляя чуйку, осторожно выговаривал, слово за словом:

– Мы все – мещане. Будем, для понятности, говорить по-азбучному, просто. Чему мы, примерно, соответствуем? По-азбучному сказать: какое нам место и дело отведено на земле государевой? Вопрос!

Никто не ответил на этот вопрос.

– Купец ли, дворянин ли и даже мужик – самый низкий слой земного жителя – все имеют ответственность тому-другому делу. А наше дело – какое?

Оратор вздохнул и, посмотрев на слушателей, победно усмехнулся.

– Ученых людей, студентов, которые занимаются политикой, спрашивал, двух священников, офицера – тоже полити-

ческий, – никто не может объяснить – кто есть в России мещанин и какому делу-месту соответствует!

Ключников толкнул Вавилу в бок.

– Слышишь?

– Пошел к черту! – пробормотал Вавило.

– Но вот, – продолжал Тиунов, – встретил я старичка, пишет он историю для нас и пишет ее тринадцать лет: бумаги исписано им с полпуда, ежели на глаз судить.

– Кожемякин? – угрюмо спросил Вавило.

– Вот, говорит, тружусь, главнейше – для мещанства, – не ответив, продолжал кривой, – для него, говорит, так как неописуемо обидели его и обошли всеми дарами природы. Будет, говорит, показано мною, сколь русский народ, мещане, злоплененное сословие, и вся судьба мещанской жизни.

Бурмистров снова спросил:

– Ты читал?

– Нет, не читал. Но – я знаю некоторые краткие мысли оттуда. Вот, например, мы: какие наши фамилии? По фамилиям – мы выходим от стрельцов, пушкарей, тиунов – от людей нужных, и все мы тут – люди кровного русского ряда, хотя бы и черных сотен!

– Чего ты хочешь? – сурово спросил Вавило в третий раз.

Потирая руки, Тиунов объявил:

– Как чего? Соответственного званию места – больше ничего!

Он окинул всех просиявшим оком и, заметив, что уже на

многих лицах явилась скука, продолжал живее и громче:

– Не желательно разве мне знать, почему православное коренное мещанство – позади поставлено, а в первом ряду – Фогеля, да Штрехеля, да разные бароны?

Павел Стрельцов охнул и вдруг взвился, закричал и захлебнулся.

– Верно-о! Да... дай мне ходу, да я – господи! – всякого барона в деле обгоню!..

Его крик подчеркнул слова Тиунова, и все недоверчиво, с усмешками на удивленных лицах, посмотрели друг на друга как бы несколько обновленными глазами. Стали вспоминать о своих столкновениях с полицией и земской управой, заговорили громко и отрывисто, подшучивая друг над другом, и, ласково играючи, толкались.

Были рады, что кривой кончил говорить и что он дал столь интересную тему для дружеской беседы.

А Вавило Бурмистров, не поддаваясь общему оживлению, отошел к стене, закинул руки за шею и, наклоня голову, следил за всеми исподлобья. Он чувствовал, что первым человеком в слободе отныне станет кривой. Вспоминал свои озорные выходки против полиции, бесчисленные дерзости, сказанные начальству, побои, принятые от городских и пожарной команды, – всё это делалось ради укрепления за собою славы героя и было дорого оплачено боками, кровью.

Но вот явился этот пройдоха, застучал языком по своим черным зубам и отодвигает героя с первого места куда-то в

сторону. Даже Артюшка – лучший друг – и тот, отойдя в угол, стоит один, угрюмый, и не хочет подойти, перекинуться парой слов. Бурмистров был сильно избалован вниманием слобожан, но требовал всё большего и, неудовлетворенный, странно и дико капризничал: разрывал на себе одежду, ходил по слободе полуголый, валялся в пыли и грязи, бросал в колодцы живых кошек и собак, бил мужчин, обижал баб, орал похабные песни, зловеще свистел, и его стройное тело сгибалось под невидимую людям тяжестью. Во дни таких подвигов его красивое законченное лицо становилось плоским, некоторые черты как бы исчезали с него, на губах являлась растерянная, глуповатая улыбка, а глаза, воспаленные бессонницей, наливались мутной влагой и смотрели на всё злобно, с тупой животной тоской. Но – стоило слобожанам подойти к нему, сказать несколько ласковых похвал его удали, – он вдруг весь обновлялся, точно придорожная пыльная береза, омытая дождем после долгой засухи, снова красивые глаза вспыхивали ласковым огнем, выпрямлялась согнутая спина, сильные руки любовно обнимали знакомых; Вавило, не умолкая, пел хорошие песни, готов был в эти дни принять бой со всеми за каждого и даже был способен помочь людям в той или другой работе.

Сейчас он видел, что все друзья, увлеченные беседою с кривым, забыли о нем, – никто не замечает его, не заговаривает с ним. Не однажды он хотел пустить в кучу людей стулом, но обида, становясь всё тяжелее, давила сердце, обес-

силивала руки, и, постояв несколько минут, – они шли медленно, – Бурмистров, не поднимая головы, тихонько ушел из трактира.

На другой день утром он стоял в кабинете исправника, смотрел круглыми глазами на красное, в седых баках, сердитое лицо Вормса, бил себя кулаком в грудь против сердца и, захлебываясь новым для него чувством горечи и падения куда-то, рассказывал:

– Мы, говорит, мещане – русские, а дворяне – немцы, и это, говорит, надо переменить...

Вормс, пошевелив серыми бровями, спросил:

– Как?

– Что?

– Переменить – как?

– До этого он не дошел!

Исправник поднял к носу указательный палец, посмотрел на него, понюхал зачем-то и недовольно наморщил лоб.

– А другие? – спросил он.

– Другие? – повторил Бурмистров, понижая голос и оглядываясь. – Другие – ничего! Кто же другие? Только он один рассуждает...

– А печник? Там есть печник! Есть?

– Он – ничего! – хмуро сказал Вавило.

– Все?

– Всё.

Исправник отклонил свое сухое тело на спинку кресла и, размеренно стучая пальцем по столу, сказал:

– Все вы там – пьяницы, воры, и всех вас, как паршивое стадо, следует согнать в Сибирь! Ты – тоже разбойник и скот!..

Говорил он долго и сухо, точно в барабан бил языком. Бурмистров, заложив руки за спину, не мигая, смотрел на стол, где аккуратно стояли и лежали странные вещи: борзая собака желтой меди, стальной кубик, черный, с коротким дулом, револьвер, голая фарфоровая женщина, костяная чаша, подобная человеческому черепу, а в ней – сигары, масса цапок с бумагами, и надо всем возвышалась высокая, на мраморной колонне, лампа с квадратным абажуром.

Исправник, грозя пальцем, говорил:

– Ты у меня смотри!

Потом, сунув руку в карман, деловито продолжал:

– Ты теперь должен там слушать и доносить мне обо всем, что они говорят. Вот – на, возьми себе целковый, потом еще получишь, – бери!

Протянув открытую ладонь, Вавило угрюмо сказал:

– Я ведь не из-за денег...

– Это всё равно!

Опираясь на ручки кресла, исправник приподнял свое тело и наклонил его вперед, точно собираясь перепрыгнуть через стол.

Бурмистров уныло опустил голову, спросив:

– Идти мне?

– Ступай!

Был конец августа, небо сеяло мелкий дождь, на улицах шептались ручьи, дул порывами холодный ветер, тихо шелестели деревья, падал на землю желтый лист. Где-то каркали вороны отсыревшими голосами, колокольчик звенел, бухали бондари по кадкам и бочкам. Бурмистров, смешно надув губы, шлепал ногами по жидкой грязи, как бы нарочно выбирая места, где се больше, где она глубже. В левой руке он крепко сжимал серебряную монету – она казалась ему неудобной, и он ее нес, как женщина ведро воды, – отведя руку от туловища и немного изогнувшись на правую сторону.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.